

Дмитрий Воденников



Я ВАС ВСЕХ НАУЧУ – ГОВОРИТЬ С ВОРОБЬИНОЙ ГОРЫ

* * *

Так дымно здесь и свет невыносимый,
что даже рук своих не различить –
кто хочет жить так, чтобы быть любимым?
Я – жить хочу, так, чтобы быть любимым!
Ну так, как ты, – вообще не стоит – жить.

А я вот все живу – как будто там внутри
не этот – как его – не будущий Альцгеймер,
не этой смерти пухнувший комочек,
не костный мозг и не подкожный жир,
а так, как будто там какой-то жар цветочный,
цветочный жар, подтаявший пломбир,

а так, как будто там какой-то ад пчелиный,
который не залить, не зализать...
Алё, кто хочет знать, как жить, чтоб быть любимым?
Ну чё молчим? Никто не хочет знать?

Вот так и мне не то чтоб неприятно,
что лично я так долго шёл на свет,
на этот свет и звук невероятный,
к чему-то там, чего на свете нет,

вот так и мне, не то чтобы противно,
что тот, любой другой, кто вслед за мною шёл
на этот звук, на этот блеск пчелиный,
на этот отсвет – все ж таки дошёл,

а то, что мне – и по какому праву, –
так по-хозяйски здесь привыкшему стоять,
впервые кажется, что так стоять не надо.
Вы понимаете, что я хочу сказать?



Огромный куст, сверкающий репейник,
 который даже в джинсы не зашить –
 последний хруст, спадающий ошейник –
 что там еще, с чем это все сравнить?

Так пусть – гудящий шар до полного распада,
 в который раз качнется на краю...

Кто здесь сказал, что здесь стоять не надо?

Я – здесь сказал, что здесь стоять не надо?

Ну да, сказал – а все еще стою.

*Так жить, чтоб быть
 ненужным и свободным,
 ничейным, лишним, рыхлым, как земля, –
 а кто так сможет жить?*

Да кто угодно

и как угодно – но не я, не я.

* * *

Ах, жадный, жаркий грех, как лев меня терзает.
 О! матушка! как моль, мою он скушал шубку,
 а нынче вот что, кулинар, удумал:
 он мой живот лепной, как пирожок изюмом,
 безумьем медленным и сладким набивает
 и утрамбовывает пальцем не на шутку.

О матушка! где матушка моя?

Отец мне говорит: Данила, собирайся,
 поедем на базар, там льва степного возят,
 он жаркий, жадный лев, его глаза сверкают, –
 я знаю, папа, как они сверкают, –
 я вытрясаю кофту в огороде:
 вся кофта съедена, как мех весной у зайца,
 я сам, как заяц, в сладком половодье.

О матушка! где матушка моя?

А ночью слышу я, зовут меня: Данила,
 ни меда, ни изюма мне не жалко,
 зачем ты льва прогнал и моль убил, Данила? –
 так источается густой, горячий голос.
 Я отвечаю: мне совсем не жарко,
 я пирожок твой с яблочным повидлом.
 А утром говорит отец: Пойдем в Макдональдс.

О матушка! где матушка моя?

Намедни сон сошел: солдат рогатых рота,
 и льва свирепого из клетки выпускают,

он приближается рычащими прыжками,
он будто в классики зловещие играет,
но чудеса! – он, как теленок, кроток:
он тычется в меня, я пасть его толкаю
смешными, беззащитными руками,
глаза его, как желтые цветочки,
и ослепляет огненная грива.

Но глухо матушка кричит из мягкой бочки:
Скорей проснись, очнись скорей, Данила.
И я с откусанным мизинцем просыпаюсь.

* * *

Ты ждал меня среди взрослеющих детей,
единственный не прибавляя в росте
(не то чтоб маленький, *а просто как подросток*).
...Обидно, мне б хотелось повзрослей.

Я вижу куст из роз и незабудок синих,
из крупных катышков, из мелкого огня:
я говорю с тобой, как с мальчиком и сыном,
а ты, как взрослый, смотришь на меня.

Я говорю тебе:

– Мне, правда, непонятно,
зачем сейчас, в июле, пред грозой
ко мне пришел трехлетний, неприятный
немецкий мальчик, нерожденный мной.

Ведь мне не жаль тебя, я знать тебя не знаю,
мне только интересно, сколько ты
пытался вырваться из этого китая
(толкая мальчиков и девочек толкая),
чтоб дотянуться до меня – из темноты.

Но куст дрожит и сыпет дождик мелкий,
на нём ни пап, ни мам, ни даже белок нет.
Среди других детей ты не в своей тарелке:
тебе сегодня – девятнадцать лет.

С тех пор – как выпускник, надев дурацкий галстук,
у мертвого куста, сожженного живьем
(в тот год июль гремел – и грозы были часты), –
все разошлись, а ты стоишь столбом.

Но новый куст зацвёл, сгоревшему на смену,
12 лет прошло, но вас на свете нет:
– Ну как мне *звать тебя хотя бы*, недомерок? –
я говорю, а он молчит в ответ.

Когда-нибудь, нажравшийся цветами
я выплыву к тебе – не тем концом
вертлявой белкой и вперед ногами,
с счастливым и бессмысленным лицом.

К тебе, мой старший, некрасивый мальчик,
чтоб для тебя быть вечно молодым
высоким немцем, розовым китайцем,
таким же, как и ты, глухонемым.

* * *

Самая большая глупость, которую способен ляпнуть поэт, –
это сказать, что он может всё сам написать.
Нет, он может дать только сгустки, где бродит сиреневый свет,
а всё прочее сделают – голоса.

Не какие-то там безымянные, а обычные: Коли и Миши,
очень даже конкретные,
с документами и с паспортами...
Они приходят с войны – и заполняют книжки
слабым мужским мяуканьем, визгливыми голосами.

...Мы лежали с тобой однажды – в долгих сумерках на кровати,
и я не мог отвести взгляда от долго гаснущего окна
(на тебе было белое платье, обыкновенное летнее платье),
и ты сказала: этот чертов закат сводит тебя с ума.

Но дело в том, что каждый имеет право – на свою особую личную рану,
о чем нас предупредили честно – лет пятьдесят назад:
– Я, выживший русский солдат, не лягу с немцем Иваном.
– Я мертвый немецкий солдат, но тоже не лягу с Иваном. –
Война поросла быльем: все умерли и лежат.

Жизнь проходит. Война проходит. Любовь проходит.
В Нью-Йорке вишни цветут, над Питером бродит гроза.
Но все, что осталось от нас
(в том числе и от нас с тобою),
огромная медленно гаснущая оранжевая полоса.

Ты хотела до нас докричать свою красную кровную рану,
я пытался тебе рассказать о своей деревянной вине,
но никто не скажет нужного слова (как с тем дураком иваном,
а ведь он совсем надорвался на той войне).

...Так вот – я хочу сказать,
когда мы смешаемся в прахе
(тесней, чем когда-то при жизни), спасибо тебе за всё:
за медленно меркнувший свет, за белое твоё платье,
за летнее твоё платье, за бессмертное платье твоё.

* * *

Но я ещё прижмусь к тебе – спиной,
и в этой – белой, смуглой – колыбели –
я, тот, который – *всех сильней*, – с тобой,
я – стану – *всех печальней* и слабее...

А ты гордись, что в наши времена –
горчайших яблок, поздних подозрений –
тебе достался целый мир, и я,
и густо-розовый
безвременник осенний.

Я развернусь лицом к тебе – опять,
и – *полный нежности, тревоги и печали* –
скажу: «Не знали мы,
что значит – погибать,
не знали мы, а вот теперь – *узнали*».

И я скажу: «За эти времена,
за гулкость яблок и за вкус утраты –
не как любовника –
(как мать, как дочь, сестра!) –
как *современника* – утешь меня, *как брата*».

И я *скажу* тебе,
что я тебя – люблю,
и я *скажу* тебе, что ты – моё спасенье,
что мы погибли (*я понятно – говорю?*),
но – сдерживали – гибель – как умели.

ТРАМВАЙ

Баранов, Долин, я, Шагабутдинов,
когда мы все когда-нибудь умрем –
мы это не узнаем, не поймем
(ведь умирать так стыдно, так обидно),
зато, как зайчики, ужасные соседи,
мы на трамвае золотом поедем.

Сперва помедленней, потом быстрее, быстрее
(о мой трамвай, мой вечный Холидэй) –
и мимо школы, булочной, детсада –
трамвай, которого мне очень надо –
трамвай, медведь, голубка, воробей.

Уж я-то думал, я не упаду,
но падаю, краснея на лету,
в густой трамвай, который всех страшнее,
а он, как спичка, чиркнув на мосту

несется, заведенный в пустоту
(куда и заглянуть теперь не смею),
с конфеткой красной, потной на борту.

Но вот еще, что я еще хочу
(хоть это никогда не закричу), –
а позади уже бежит Стромынка:
обидно мне, что, падая во тьму,
я ничего с собою не возьму –
ни синяка, ни сдобы, ни ботинка,
ни Знаменку, ни рынок, ни Москву.

А я люблю Москву – и вот, шатабиду,
я прямо с Пушки в небеса уйду,
с ВДНХ помашет мне Масловский.
Но мой трамвай, он выше всех летит,
а мне всё жаль товарищей моих,
и воробьих, и воробьев московских.

Ах, если бы и мне ты тоже мог бы дать
на час – музеи все, все шарики отдать,
все праздники, всех белых медведей –
всё, что бывает у других людей
и что в один стишок не затолкать
(ведь даже мне всей правды не сказать), –

тогда, ах если бы (иначе я боюсь),
тогда Барановым и Долиным клянусь:
что без музеев (из последних сил
я в них всегда, как сирота, ходил),
без этих шариков, которые всегда
от нас не улетали никуда –
без них без всех – я упаду во тьму
и никого с собой – не утяну.

* * *

– А я тоже однажды катался на роликах (был я совсем большой,
от большого ума и катался), но так пахли весной деревья, –
говорит мужичок под сорок, какой-то весь никакой:
– Я упал об асфальт с размаху. Ударился головой.
Теперь у меня – каждую ночь виденья.

– А зато у меня – когда в июле отключают горячую воду, –
говорит сосед, водитель «газели», – а я возвращаюсь с завода грязней собаки,
я беру обмылок «Ромашки» и тру ледяные руки.
И тогда у меня на руках проступают – знаки.

– А ко мне, – пишет русская женщина из Лондона, сорока пяти лет, –
когда я лежала под капельницей на Каширке, в серьезной больнице,

ко мне приходил триединый бог: дух, сын и отец,
но у них почему-то были красивые мусульманские лица.

– А ко мне, – говорит последний, – когда мне было семь или шесть –
из-за снотворного (феназепама) ко мне приходили
мертвые и живые, а первым пришел белый полярный медведь,
феназепам мне давали родители, очень меня любили.

...А вот я – никаких не вижу видений, мне нечего вам рассказать,
всё, что есть у меня – грубые шаткие рифмы,
и хотя я только свидетель, а не отчим тебе и не мать,
но я беру тебя (к примеру, последнего) на руки
и кормлю тебя крупной брусничкой.

Потому что в конечном счете – в стихах должен быть стол и стул,
чашка и миска и много всякой еды, чтобы люди попили-поели
и ушли от тебя навсегда, – продолжая слизывать с губ
изумленные крошки брусничного стихотворенья.

* * *

Когда бы я как Тютчев жил на свете
и был бы гениальней всех и злей –
о! как бы я летел, держа в кармане
Стромынку, «винстон», кукиш и репей.

О, как бы я берег своих последних
друзей, врагов, старушек, мертвецов
(они б с чужими разными глазами
лежали бы плашмя в моем кармане),
дома, трамваи, тушки воробьев.

А если б все они мне надоели,
я б вывернул карманы, и тогда
они б вертелись в воздухе, летели:
все книжки, все варьянты стихтворений,
которые родиться не успели
(но даже их не пожалею я).

Но почему ж тогда себя так жалко-жалко,
и стыдно, что при всех, среди бела дня,
однажды над Стромынкой и над парком,
как воробья, репейник и скакалку,
Ты из кармана вытряхнешь – меня.

* * *

*Так вот для чего это лето стояло
в горле как кость и вода:
ни утешеньем, ни счастьем не стало,
а благодарностью – да.*

Ну вот и умер еще один человек, любивший меня.
 И вроде бы сердце в крови,
 но выйдешь из дома за хлебом, а там – длинноногие дети,
 и что им за дело до нашей счастливой любви?
 И вдруг догадаешься ты, что жизнь вообще *не про это*.

Не про то, что кто-то умер, а кто-то нет,
 не про то, что кто-то жив, а кто-то скудеет,
 а про то, что всех заливают небесный свет,
 никого особенно не жалеет.

– Ибо вся наша жизнь – это только погоня за счастьем,
 но счастья так много, что нам его не унести.
 Выйдешь за хлебом – а жизнь пронеслась: «Это лето, Настя.
 Сердце мое разрывается на куски».

Мужчины уходят и женщины (почему-то),
 а ты стоишь в коридоре и говоришь опять:
 – В нежную зелень летнего раннего утра
 хорошо начинать жить, хорошо начинать умирать...

Мать уходит, отец стареет, курит в дверях сигарету,
 дети уходят, уходят на цыпках стихи...
 А ты говоришь, стоя в дверях:
 – Это лето, лето...
 Сердце мое разрывается на куски.

ЧЕРНОВИК

*потому что стихи не растут, как приличные дети,
 а прорастают ночью, между ног,
 и только раз рождаются в столетье
 поэт-дурак, поэт-отец, поэт-цветок*

1

Да, вот именно так (а никак по-другому)
 ушла, расплевавшись со всеми, моя затяжная весна,
 и пришла – наконец-то – моя долгожданная зрелость.
 Только что ж ты так билось вчера, мое сытое хитрое сердце,
 только что ж ты так билось, как будто свихнулось с ума?

...Я стою на апрельской горе – в крепко сшитом военном пальто,
 у меня есть четыре жизни (в запасе), у меня есть письмо от тебя:
 «Здравствуй, – пишешь мне ты, – я серьезно больна,
 И у меня нет жизни в запасе. Завтра у меня химиотерапия.
 Однако я постараюсь выжить, я буду бороться.
 Ты же – постарайся быть счастлив.
 Живи, по возможности радостно.
 И ничего не бойся». – Ну вот я и стараюсь.

2

Ну так вот и *старайся* – вспотевший, воскресший, больной
записать эту линию жизни на рваной бумаге
(электронной, древесной, зеленой, небесной, любой),
и за это я буду тебе – как и все – благодарен.

Сколько счастья вокруг, сколько сильных людей и зверей! –
...вот приходит Антон Очиров, вот стрекочет Кирилл Медведев,
а вот человек (пригревшийся на раскаленном камне),
несколько лет нёсший возле меня свою добровольную гауптвахту,
с переломанной в детстве спиной,
сам похожий на солнечную саламандру,
на моё неизменное: «бедный мой мальчик»,
отвечавший –
«нет, я счастливый»...

3

Эти люди стоят у меня в голове,
кто по пояс в земле, кто по плечи в рыжей траве,
кто по маковку в смерти, кто в победе своей – без следа.
Эти люди не скоро оставят меня навсегда.

Ну а тех, кто профукал свою основную житейскую битву
кто остался в Израиле, в Латвии, в Польше, в полях под Москвой,
мы их тоже возьмем – как расстрелянную голубику
на ладонях, на солнечных брюках и юбках, – с собой.

4

...Мы стоим на апрельской горе – в крепко сшитых дурацких пальто,
Оля, Настя и Рома, и Петя, и Саша, и хрен знает кто:
с ноутбуком, с мобильным, в березовой роще, небесным столбом,
с запрокинутым к небу прозрачным любимым лицом
(потому что все люди – с любимыми лицами – в небо столбы).
Я вас всех научу – говорить с воробьиной горы.

5

– Здравствуйте, – скажет один. – Я единственный в этой стране
защищавший поэзию от унижения,
наконец-то готов подписаться под тем, в чём меня упрекали:
– Да, это всё не стихи,
это мой живой, *столько-то-летний* голос,
обещавший женщине, которую я любил, сделать ее бессмертной,
а не сумевший сделать ее даже мало-мальски счастливой...

– Здравствуйте, – скажет второй, – если когда-нибудь в дымный апрель,
выпив полбутылки мартини (или чего вы там пьете?),
вы вдруг вспомните обо мне, затосковав о своей несбывшейся жизни, –
НЕ СМЕЙТЕ ОТКРЫВАТЬ МОИ КНИГИ,
НЕ СМЕЙТЕ ВОСКРЕШАТЬ МОЙ РАССЫПАННЫЙ ГОЛОС,
НЕ НАДО БУДОРАЖИТЬ МОЙ ПРАХ.

– Потому что я любил вас гораздо больше, чем вы меня, – скажет четвертый, – да и нужны вы мне были гораздо больше, чем я был вам нужен, и поэтому я не буду вырывать у вас палочку победителя.
(Да и какой из меня теперь победитель?)

6

...Однако,

так как на роль человека с трудной мужской судьбой претендую всё-таки я, то всё, что останется мне, – это выйти вперед, наклониться к людям (ближе других) и сказать:

– Дорогие мои, бедные, добрые, полуживые...

Все мы немного мертвы, все мы бессмертны и лживы.

Так что постарайтесь жить – по возможности – радостно,

будьте, пожалуйста, счастливы и ничего не бойтесь

(кроме унижения, дряхлости и собачьей смерти,

но и этого тоже не бойтесь).

7

Потому что всех тех, кто не выдержал главную битву,

кто остался в Париже, в больнице, в землянке, в стихах под Москвой,

все равно соберут, как рассыпанную землянику,

а потом унесут – на зеленых ладонях – домой.

Воденников Дмитрий Борисович родился в 1968 году. Закончил филологический факультет Московского государственного педагогического университета. Активно экспериментировал с синтезом поэзии и музыки: сотрудничает с группами «Пластинка мсье Ф.», «Rock'o'Co», «4'33», «Ёлочные игрушки», «Вауеры», «Рада и Терновник», отдельными композиторами. Выпустил несколько дисков авторского чтения под музыку: «Воденников не для всех», «Второй диск», «Live». Автор одиннадцати книг стихов и прозы: «Репейник: Стихи» (1996), «Holiday: Стихи» (1999), «Вкусный обед для равнодушных кошек: Стихи» (совместно со Светланой Лин) (2005), «Обещание» (2011), «Воденников в прозе» (2018) и других.

В 1999 году книга стихов «Holiday» вошла в шорт-листы премии Андрея Белого и премии «Антибукер». Поэтический сборник «Мужчины тоже могут имитировать оргазм» в 2003 году отмечен дипломом премии «Московский счёт». Читал курс лекций на русском языке о современной поэзии в Лондоне, Оксфорде, Кембридже, в Германии, в российских городах. Ведет авторскую программу «Поэтический минимум» на «Радио России». С 2013 года колумнист издания Gazeta.ru, с 2016 года – журнала «Миллионер» и журнала «STORY». В 2019-м получил премию «Книга года» в номинации «Поэзия». Живёт в Москве. Участник Второго международного форума писателей (Алматы, 2019).

